

Самая верная любовь — любовь матери. Она со дна достанет.

Самая щедрая любовь — любовь мужчины. Она создаст рай и в золе, и в пепле, и на горящих углях.

Самая опасная любовь — любовь женщины. Она, как волна, может лепить из песка камни и растирать камни в песок.

Но самая великая любовь — это смешная любовь ребенка. Он никогда не сломает и не бросит любимую игрушку.

* * *

У Евы в детстве не было любимых игрушек. Ева перестала любить их зря. Как только игрушка приобретала значимость, она тут же переходила в руки старших сестер. Еве надоело плакать и обижаться, и она перестала любить игрушки.

Ева не была золушкой, просто сестры-двойняшки всегда были заодно. Ева не стала холодной. Она научилась любить тайно, чтобы никто не догадался. Она целовала и обнимала пушистого кота только тогда, когда сестры были на улице, и катала в пластмассовой коляске по двору ходячую куклу Аленку, когда сестры куда-нибудь убегали. При них она играла с каким-ни-

будь пупсиком, легко расставалась с ним, и сестры счастливо не выпускали пупсика из рук.

Ева привыкла хитрить. Она научилась любить тайно. С годами детская хитрость переросла в глубокую ложь. Ева закрылась, захлопнулась от всех и от самой себя, прикрываясь болтовней.

— Ева, почему тебя называли Евой? — спрашивал будущий муж.

— Мама неправильно прочитала. Отец на морозном стекле в роддоме нацарапал “Зоя”, а мама с другой стороны окна прочитала задом наперед как “Ева”.

Будущий муж писал ее имя, подносил лист к лампочке и спорил, спорил, что невозможно было так прочитать, но ничего нельзя было изменить.

— Чужое имя, — сказал будущий муж и предложил построить общую семью.

Муж тоже был чужим, но Ева согласилась, потому что тайно любила другого, которого уже не было в живых. Замуж выходить было нужно, так было принято в городке, все выходили замуж и рожали детей, кроме ее сестер. Мать и сестры убеждали Еву, что замуж ее никто не возьмет, да ей и не нужно, потому что ее любимый уже погиб. И Ева торопливо и тайно вышла замуж, чтобы быть такой, как все.

— Польска паненка? — спрашивали соседки ее белорусскую свекровь.

Свекровь сдержанно отвечала:

— Русская.

— Большевичка?

— Не, не большевичка.

— Ай-ай, пупы-пупы. Але мало паненок было твоему Петро? Хай бы ж на Гале, бухгалтерке совхозной, женился...

Признакомившись поближе, бабы зазывали по вечерам Еву на лавочку на посиделки, требовали:

— Говорь, Ева.

— Что говорить?

— Абы што, коли ласка. Вельми велика мова. Говорь, Ева, нам по-русски.

— Вы же ничего не поймете.

— Говорь!

И Ева на великой мове говорила им все подряд — и стихи, и сказки, и про политику, не зная, понимают они ее или нет. Бабы кивали, и как только Ева замолкала, требовали:

— Аще! Але и мова! Як цацечка...

Пупы — это прошлые коммунисты и большевики в пупейках — высоких шлемообразных шапках. Память о них в бабах осталась навечно. Они обворовали и затравили этот краешек Западной Белоруссии настолько, что и мертвые будоражили все посиделки, и ненависть к русским нейтрализовать можно было только русской речью.

Песни Ева не пела. Запела один раз на соседской свадьбе — так такая началась вдруг свара у свекра с гостями, что песня так и осталась недопетой. Все перессорились, разбежались по гулкой, черной белорусской ночи, а им с мужем постелили на душистом сеновале.

Муж клял и материл всех гостей и их родных до седьмого колена на вдруг проснувшемся в нем родном языке и наконец мрачно заснул, пообещав наутро достать конкретно из серого ящика в подвале ружье и всех перестрелять. Муж храпел на душистом сене, и его незнакомое лицо было маленьким и бесцветным, как у куклы. Корова внизу чвякала копытами по жиже, тепло и трудно вздыхала, и от ее присутствия Еве было спокойнее принять жизнь как есть. Она сидела на сене и ждала утра, боясь представить подвал и серый ящик с оружием. Ева знала, что люди обычно впустую обещают хорошее, а обещанное плохое исполняют. Закукарекали петухи.

— Хай бы ж ты на Гале-бухгалтерке женился, — равнодушно прошептала она слова свекрови и сладко заснула в пышном душистом сене.

То, что Ева попала в хату колдуна — ей сказали бабы на лавке. Не прямым текстом, но она поняла. В деревне было скучно. Одно развлечение — ездить на велосипеде в соседние деревни по магазинам. Свекр за ужином объявлял план работы на следующий день: сколько кому следует собрать смородины, груш, яблок для поездки в выходные на базар, и они с мужем шли в сад к огромным, выше человека кустам красной, белой и черной смородины. Дочка ползала рядом по расстеленному одеялу, и было тихо вокруг них и вокруг всей жизни: тишина в прошлом, тишина в настоящем, тишина в будущем. Еве как было, так и было хорошо.

Но тишину нарушал свекр. Он постоянно хотел снять с них порчу. Требовал пройти какой-либо — и всегда разный — обряд по вечерам, чтобы снять сглаз “пекла” — болтливых соседок. Свекр был поляк, соседки все — белоруски. Ева несколько раз исполнила его приказания, но ей это не понравилось — без причины вдруг поднялась температура, — и Ева стала отказываться. Тогда свекр перекинулся на дочку, брызгал на нее водой из бутылки, шептал что-то, помахивая ножом вокруг тела. Ева отняла ребенка. Ночью пришлось вызвать “скорую” и отправиться в больницу. Утром в больницу явились муж и свекр.

— Мама у церкву пошла за семь километров пешком. Мы вас сейчас заберем без спросу и отвезем к знахарю. Потом вернем.

Ева по глупости согласилась.

Дед-знахарь Еве не понравился. Он был неопрятный, востроглазый, бульбоносый и лысый. Обвивал нитками, измерял руки-ноги льняной суровой пряжей, вязал узлы... Свекр вошел в раж и по пути завез их на мотоцикле с люлькой еще к одному деду. Тот был черный, как ворон, и суетливый, как воробей. Потом заодно по прямой трассе заглянули в бабке. Бабка была смешная, она, воровато заглядывая в люльку, ждала гостей. Отнесла вприпрыжку в дом гостинцы и тут же на улице стала хлопать Еву по спине, выправляя сглаженные и нарушенные позвонки, а дочку в руки Ева ей не дала.

Приехали домой. Свекровь вернулась из церкви, принесла просфорки, дали дочке, положили спать, в больницу больше не поехали.

Свекр был очень своенравным. Однажды он решил, что Ева смертельно больна, так как слишком бледная.

— У меня кожа такая, — пыталась спорить Ева, но уже был выкачен из гаража мотоцикл. Муж тоже пытался возразить отцу, мол, она всегда была такая белокожая...

— Сморкач проклятый! — сказал сыну свекр. — Седайте!

Сели и поехали.

Дом, как в сказке, с покосившейся крышей — стоял на краю деревни, на отшибе, среди кустов в некошеной траве, и непонятно было, почему он не падает набок. Нахохлившийся, как больная, задремавшая ворона, он, казалось, через мгновение проснется, встрепенется, закаркает, захлопает сломанным крылом — черной гнилой щепой кривого конька и приподнимется с земли на скрипучих сухих лапах и крикнет, и вдруг квакнет, и чихнет, и закашляет, и рассыплется в прах.

В доме были земляные полы, по полам бродили в скуке вороны и четыре облезлых кота. Они все дружно что-то искали и не могли найти на земле. Свекр в высоких кожаных сапогах и лично пошитых галифе прошел важно, сел за стол без спросу, как у себя дома, грохнул на табуретку сумку с гостинцами — одинаковый его набор для визитов — самогоном, салом и домашней колбасой.

— Трэмай, Дарья. Трэба подсобить. Больная невестка, бачишь ты?

Ева изумленно разглядывала огромные серебряные и золотые броши, бусы из драгоценных камней, сложенные в кучу на старой, облезлой табуретке возле окна, будто на столике. У Евы захватило дух — она любила камни. Такая у нее была с детства необъяснимая любовь к камням — сначала к речным камушкам, потом к драгоценным.

Ева заворожено разглядывала издалека украшения, но взгляд ее внезапно наткнулся на грязную руку, перемешивающую драгоценности, как тесто. На полу у табуретки, возле ног матери пристроился босой лохматый парень в холщовых домотканых коротких штанах — до невозможности грязный, сопливый, с красными от слез глазами. Он счастливо заулыбался Еве и протянул ей горсть бус и брошек.

Ева тоже улыбнулась и подошла к нему.

— На, Ева! — сказал парень.

Ева не удивилась тому, что он знает ее имя.

— Не надо, спасибо, — прошептала она, наклонясь к нему. — Играй сам, это твои игрушки.

— Сядь! — велела Дарья, отгоняя ее жестом от сына.

Она стала медленно раскладывать на столе карты. Вышли четыре туза. Дарья зыркнула на свекра:

— Кого ты мне сюда привез? — грубо бросила она и быстро раскидала новые карты. Рука ее дрогнула — вышли четыре туза.

Она тщательно перемешала карты, и снова вышли четыре туза.

— Так вот какие люди сегодня в моем доме, — зло прищурилась Дарья, — Выгнать не могу, не поймете, — сказала она по-русски и далее стала говорить по-польски, перемешивая речь с белорусским языком.

— Ладно, — жестко согласилась она с кем-то невидимым и стала выкладывать вокруг тузов из колоды другие карты. Вышли четыре короля, четыре дамы и четыре вальта.

— Не буду гадать, — громко рыкнула она и бросила карты. — Кого ты мне привез?! В дом завел!

Свекр растерялся, заелозил на стуле:

— Дарья, мой сын большой человек в России.

— Вельми большой. Не хочу. Не треба. Не буду, — рубанула рукой Дарья.

— Да! — оживился и заартачился свекр, — большой человек! Мой сын начальник, Дарья! Он заплатит. Погадай, Дарья, не упрямясь. Интересно же.

Дарья устала в окно, набивая цену или просто раздумывая.

Свекр стал взахлеб рассказывать Дарье об успехах сына. Та кивала аккуратно причесанной черной головой, тонкие, красивые черты лица заострились, профиль превратился в вороний, она не перебивала, только все жестче и суше поджимала изящно прочерченные на точеном и не тронутом старостью лице губы и неотрывно смотрела в окно черными миндальными глазами. Вдруг резко повернулась к Еве, к ногам которой приполз с бусами и брошками ее ненормальный сын.

— Для чего тебе ехать в Польшу?! Что ты там забыла? — спросила она зло.

— Я не еду в Польшу. Я была там раньше, да. Долго... месяц...

— Где?

— В Варшаве, в Кракове, в Гданьске, Гдыне, Познани... много где...

— Не едь в Польшу! Не смей!

— Я больше не собираюсь. Мы были там по студенческому обмену, когда я училась в институте, а польские студенты потом к нам приезжали в Петербург... — принялась лепетать испуганная Ева.

— Сказала, ни ногой больше! Все тебе будет здесь. Все, что захочешь — получишь, если не поедешь в Польшу.

— Не едет она, Дарья! Чего ты, не едет она. Они в России, Дарья, — стал успокаивать ее растерявшийся свекр.

— Вот что будет! Слушай, что будет! — резко повернувшись к нему выпалила Дарья.

Свекр с озверевшим и застекленевшим от повышенного внимания лицом, открыв рот, внимал старухе, пытаясь запомнить пророчества и пути их исправления. Он то шептал что-то, как червями шевелил тонкими губами, загибал пальцы, подпрыгивал на табуретке и периодически озирался, боясь перебить гадалку, пытался отыскать взглядом бумагу и ручку.

У Евы был блокнот, но она не дала. Она поднялась тихонько с табуретки и незаметно вышла в сени за Дарьиным сыном. Тот, нагнувшись, тащил за лапу кошку — ругал ее, мычал и собирался за что-то наказать. Но тащил не зло, не больно, хоть и сильно. Кошка молча упиралась, отказывалась идти. Следом заполосно бежали озабоченные вороны. Видимо, кошка все же что-то нашла на полу или стащила гостинцы из сумки свекра. Все это было Еве гораздо интереснее. Этой странной толпой они все почти бесшумно выкатились на крыльцо избы.

Лохматый парень сурово запихал кошку в холщовый мешок и подвесил мешок на гвоздь над солнцезеке. Кошка молчала, не мяукала, и видно было, что она понимает, за что ее наказали и подвесили. И вороны понимали, и остальные три кота тоже понимающе смотрели снизу вверх на мешок.

— Зачем ты это сделал? — спросила Ева.

— Будя думать, — хмуро сказал парень и исчез в черной тени высоких кустов белой смородины. Смородина с листьями клена и ягодами винограда, светом янтаря, высотой с дом, переливалась на ветках как виноградный дождь.

— Я сниму ее! — крикнула Ева.

— Погоди трошки и сними, — донеслось из дождя. — Будя думать.

Ева навсегда запомнила, каким способом жизнь может заставить думать о вине. Это потом всегда помогало: посадить себя в плотный мешок и зависнуть высоко под палящим солнцем правды.

* * *

Болезнь подступала долго, нерешительно, то подползала, то удалялась. Ева ее отгоняла, но второго ребенка кормить грудью перестала. Умирать и оставлять двоих детей было нельзя. Грудь то горела огнем, то леденела и становилась чужой, будто ее уже не было. Свекр отвез Еву к какому-то очередному знакомому деду — собрал в дерматиновую сумку, как обычно, сало, колбасу, самогонку, завел мотоцикл и поехали.

Дорога прямая, без поворотов, садись за руль да спи, все равно доедешь, уныло гудела. Ева дремала в люльке, укрывшись заколешшим на ветру куском кожанменителя.

Дед — незнакомый — обычный старый мужик, только глаза острые, злые, шептал над водой, укрывая бутылку с двух сторон седыми прядями волос. Ева любовалась: седые волосы серебрились на солнце, вода в бутылке рябила, переливалась, будто разговаривала с ним. Красиво! Солнце лилось в окно, и Ева благостно и снисходительно улыбалась, будто была в последней в жизни сказке.

Грудь дед смотреть не стал, велел сначала пить нашептанную воду, а потом снова приехать. Но больше к нему они не поехали, потому что Еве стало совсем плохо.

Старая бабка, соседка Зоня, обнаружив полыхающую Еву на лавке возле дома, всплеснула руками, кивая на замотанную шерстяным платком грудь Евы, сердито закричала:

— Чаго ты здесь сядишь? Ты что ж это делаешь, девка?! У тебя ж дети! Почему в больницу не едешь?

— Была я в больнице, давно лечусь...

— Тогда езжай с моей Томкой завтра утром до бабки Пани. А ну иди отсель! Собирайся, поедешь завтра с Томкой. Бесу этому не говори только, не пустит. Томку опять сглазили на работе — дурная стала, цифрам счет не понимает, уволить потому хотят. А ведь у нее институт закончен, а считать разучилась, сглазили! Поедешь?

— Поеду.

Малюсенький полесский домик под вековыми липами, как спичечный коробок в лесу — издали не увидишь — затерялся, обвитый вереницей легковых машин. Встали с Томкой в очередь, ждали долго, с утра до самого вечера.

— Что это за бабка такая Пания, что к ней столько людей? — удивлялась Ева, унывая от жары и отмахиваясь березовой веткой от мух.

— Сильная бабка. Со всех краев едут, не только из Белоруссии, — сказала Томка. — Тяжело ей, день и ночь сидит дома. Такая жизнь — врагу не пожелаешь.

Уже почти ночью дошла очередь до Евы. Мухи ползали по домотканому пологу входной двери, редко и кратко звенькали при взлете — уже начинали засыпать и летать ленились. Светлый старичок, усталый, вялый, отодвинул полог, и Ева вошла в домик. Слева — железная кровать с пружинистой сеткой, справа — печка, прямо — стол. И больше ничего. На кровати, в провисшей до полу сетке, как в люльке, сидела маленькая голубоглазая старушечка — круглая, беленькая, свежая, яркая, как только что вылепленная игрушка, улыбалась.

— Иди сюда, — сказала она Еве.

Ева села рядом с ней, тоже провалилась до полу, скрипя пружинами, завалилась на бабульку, попыталась выпрямиться, отстраниться, стало неловко, неудобно, но от бабки было не оторваться — так и сидели, слившись водино в провисшей сетке, как в яме, тесно прижавшись друг к другу. Бабка Пания обняла голову Евы и прижала к своей груди. И Еве вдруг захотелось остаться с ней навсегда. Она ее любила. Вот так ее никто никогда не любил. И мир исчез, и все исчезло, и не было ничего в мире, кроме этой теплой человеческой руки на затылке. Ева подумала, что хорошо бы умереть именно сейчас.

— Поешь песни? — спросила вдруг бабка Пания.

— Пою, — кивнула Ева и судорожно, с тяжелым всхлипом вздохнула.

— Хорошо поешь, — похвалила старушка. — Ты пой, пой.

— Я пою...

— А что будет, на то не смотри. Пой себе и пой. Всегда пой.

— Я пою...

— Надо петь. И всегда пой. И дальше пой.

— Хорошо, я буду всегда петь, — прошептала Ева.

— Вот и слава Богу, пообещала. Так не забудь, что пообещала. Иди и пой, доченька моя.

— А грудь-то у меня...

— А что — грудь? Грудь, грудь. Лучше всех грудей грудь. Ни о чем не думай, пой до конца, а как конец — так всего сильнее пой.

* * *

Больше грудь никогда не болела. Но стала болеть душа. Песни были сильными, смелыми, из этой боли выплеснутыми, застывали намертво, каменели на ветру времени, впечатываясь в него. За песнями хлынули стихи, за стихами проза. Но тут заболел сын. Ночами не спал — ныли ноги. Свекр собрался везти его к черной Дарье. Ева бесстрашно согласилась ехать. Но Дарья отказалась снимать порчу.

— Больше не занимаюсь я такими делами, не ездю ко мне, Пан. Я Богу слово дала.

— А что же случилось? — взволновался свекр, доверительно подсаживаясь поближе к Дарье.

— Сын помер. Из-за меня. Так мне Бог сказал.

Ева вздрогнула. Свекр про сына будто не услышал.

— А знания свои кому передашь? Некому теперь? — спросил он деловито, приблизив лицо к уху Дарьи.

— Никому. Со мной сгорят. Я гореть буду, Пан, здесь, на земле. Чтобы потом в аду не гореть.

— Что ты, Дарья, говоришь такое... никому... Ты ведь одна такая, Дарья... Гореть... Зачем гореть? Жить надо. Я вот двести лет собираюсь жить, отдай мне свои знания.

— Хочу гореть. Долго хочу гореть. Сына-то спалили...

— А что с ним случилось? — не выдержала Ева.

Дарья вскинула на нее глаза, и Ева поразились — перед ней сидела совсем другая женщина — седая, сморщенная, с бесцветными глазами и расплывшимся в плоский белый таз дряблым лицом. Никакой былой точеной, тонкой, литой красоты...

— Ты и спалила, — равнодушно сказала она и опустила голову.

— Отдай мне знания! — вдруг рубанул с плеча свекр. — Отдай!

— Так и остальное тогда возьми.

Свекр задумался.

— Дарья, ты мне продиктуй, я в тетрадке заговоры запишу, и гадать научи, — предложил он.

— А все остальное возьмешь?

— А что остальное?

— Все. Ты зачем приехал?

— Сглаз с внучка снять.

— А что взамен привез? Песни? Ты отдай их мне.

Свекр вспотел, вылупил глаза, растирая лоб:

— Зачем тебе ее песни? В них толку нет.

— Отдай. Мне полегче будет гореть...

Свекр снова задумался, кусая железными зубами пересохшие губы.

— Не могу. Это я не могу. Не получится. Никак не получится.

— Ну так и ты ничего не получишь. Иди своей дорогой, Пан. А как стору, никто хоронить не придет. А ты придешь и похоронишь.

— Почему — я?! — взвился свекр.

— А чтоб метка у тебя от сажки осталась.

— Для чего мне твоя метка, Дарья? Гори ты как хочешь, а людей не вытягивай. Зачем я с твоей меткой ходить буду? Никто не придет, а я нешто дурак, один в золе копать? Я не обещаю, Дарья, тебе этого. Не дури, Дарья.

— Знаешь, что придешь...

— Не приду! Не обещаю я тебе этого. Знай! — завопил свекр, беленея и выпучивая глаза.

Ева схватила сына и выбежала на улицу, она не могла слышать крик свекра, ее тут же покидали силы и начинала бить дрожь. Из дома доносился непрерывный бычий вой, слов было не разобрать. Ева пошла к высокому кусту белой смородины и вдруг увидела в центре куста невысокий холмик с деревянным православным крестом. Подле в теньке лежали два кота, а в траве тут и там спали вороны.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! — Ева в ужасе впервые в жизни перекрестилась на этот крест.

Свекр выскочил из дома:

— Ева! Чертова ведьма, не дала мне ничего! Богу слово дала, — крикнул он, пытаясь завести мотоцикл, но мотоцикл не заводился. Так и пошли они пешком до трассы, а там на попутной машине доехали до своей деревни.

Утром свекр с соседом поехали за мотоциклом с тягачом, но не нашли ни дома, ни мотоцикла — только груды углей да обгоревший труп Дарьи. Подоаль посреди дороги стоял крепкий гроб, — видно, она вытащила его из дома и подготовила для себя. В гробу — белая ткань, деньги, небольшой пакет с золотыми украшениями, брошками и драгоценными камнями и записка: "Богу слово дай тоже".

Обмлевший свекр поделил с соседом под клятву золото, Они уложили труп Дарьи в гроб и торопливо зарыли под кустом белой смородины рядом с деревянным крестом.

Никто Дарью не искал, милицию не вызывал, будто и не было никогда этого одинокого черного дома на дальнем краю белорусской деревни, ни пожара, ни тягача, ни обгоревшего мотоцикла...

Ноги у сына стали болеть еще сильнее. Повезли с Томкой его к бабке Пане. Та погладила ножки мальчику, шепча молитвы, и строго глянула на Еву.

— А ты на черте, доченька.

— На какой черте? — растерялась Ева.

— Поставили тебя на черту. В жертву. Завтра к ночи приедь одна. Мальчика не привози. Мальчик будет здоров.

— Но пою песни, как и обещала.

— На черте и поешь. Худые это песни потому. Другие будут. Или не будет никаких. Новое белье купи, в баню сходи. Обязательно! После заката, без очереди приходи, я буду ждать тебя. Ну-ка, малец, дай ножку. Молитовки знаешь? Не знаешь? Плохо, будем учить. Давай, повторяй за мной, выучим. Мама не научила — я научу. И ты давай учи, мама, — строго глянула она на Еву. — Ну, повторяйте за мной...

К вечеру свекр стал внезапно придираться ко всем — то не так, это не так. Ева взяла сына и дочку, вышла во двор, чтобы не слушать перерастающую в сплошную ор перебранку отца и сына, а когда вернулась, оба — белые, потные, с вытаращенными, налитыми кровью глазами, из последних сил гавкали друг на друга. Оба тяжело дышали, выдохлись и внезапно одновременно заткнулись. Ева прошла в комнату укладывать детей.

— Нечего было жениться на нищей. Надо было брать Галю — бухгалтерку совхозную, — уныло сказала свекровь.

— Але справна дивчинка гэта Галя! — воодушевленно подхватил свекр, и Ева поняла, что разговор был опять о деньгах.

— Добрый всем вечер! — развернулась и с восхищением всплеснула руками Ева. — Галю! Да она за капитана подводной лодки вышла замуж!

— Надо сидеть рядом с мужем, а не уходить на улицу, — поджав губы, сказала свекровь.

— Но Галя с капитаном не сидит в подводной лодке.

— А что Галя? — взвился свекр. — Чаго тебе до Гали?

— А то, что у капитана есть подводная лодка, — сказала Ева и пошла к детям, оставив всех в недоумении.

Долго стояла тишина.

— Ты как скажешь, так три дня думать надо! — заорал свекр. — Ты просто сказать не можешь, большевичка, коммунистка проклятая, навязала на наши головы. Ты все какими-то непонятными словами!

— Дети спят, — сказала Ева приоткрыв дверь.

— Дети пусть слушают, что батька говорит! — загремел свекр. — Детей батька воспитывать должен! Больно воли много получила!

— Привыкнет, — вдруг сказала примирительно свекровь.

— К чему привыкну? К мужским истерикам? Нет, не привыкну.

— А! Ну тогда разводитесь, — кивнула свекровь.

Ева холодно ухмыльнулась и вздрогнула от этой ухмылки. Сухая, безжалостная, решительная, она ее напугала, она была ей незнакома.

И свекровь кивнула, будто дело было решено:

— Ты нам такая не нужна. Разводитесь.

После заката начинается ночь. Чем ярче закат, тем ночь черней. Чем ночь черней, тем ярче в небе сияют звезды, и если какая падает, то рассекает все небо на две половины. Как ни смотри, а половины эти — справа и слева — равные. Но иные, слабые звезды, падая, не разрезают пополам небо, а лишь делают легкие, быстро заживающие порезы и оставляют невидимые шрамы.

Ева вошла в домик бабы Пани без очереди — никто не упрекнул, не возмущился, хотя обычно в очереди бывали перебранки.

Ева торопилась, дома опять был скандал, дети, наверное, опять боялись и плакали.

— Вот, принесла все чистое, в бане помылась, приготовилась, — доложила она бабе Паня.

— Ладно, хорошо. Но это не надо. Иди теперь, — сказала бабка Паня.

— Куда? — растерялась Ева.

— А куда пойдешь, туда и иди. Делай теперь, что делаешь.

— С детьми уходить?

— А как же, с детьми, конечно.

— Я не справлюсь... Мне некуда уйти... Я давно бы ушла...

— Не знаю. Ничего не знаю. Мне не велено вмешиваться. Или вытацишь всех, или никого не вытацишь. Как захочешь. Воля твоя.

— Я не смогу. Помогите мне.

Бабка Паня помотала головой:

— Три раза я спрашивала о тебе. Больно по сердцу ты мне пришлась, уж думала, выпрошу. Но нет. Не велено и все. Не могу тебе ничем помочь. Ты должна сама. Выберешься — да. Не выберешься — нет. Есть только два ответа: да и нет. Это помни.

— Но у меня же дети.

— Иди, девонька. Ничего не могу.

— Ты можешь...

— Я могу, но нельзя. Только сама. И на том конец. Иди.

— Ну, хоть сглазними, бабушка Паня, — совсем растерялась Ева, боясь выходить из дома в ночь.

— Что уж теперь тут — сглаз, — ухмыльнулась бабка. Сурово, холодно, жестоко так ухмыльнулась, как давеча ухмыльнулась Ева.

— Тут дела другие. Бывают иногда такие дела. Но редко. Я прямо тебе говорю. А ты как поймешь, так и хорошо. Иди с Богом. Пой песни. Пой до самого конца, а увидишь конец — еще сильней пой.

Ева, леденя всем телом, подошла к двери.

— Стой. Иди сюда, — мягко позвала ее бабка Паня.

Ева оглянулась.

— Видишь, какие мои ноги?

Бабка приподняла подол жесткой суконной юбки.

— Какие?..

— Никакие. Нет их. В войну ребенком отморозила в землянке.

— Как?! — ужаснулась Ева. — Я не знала...

— Никто не знает. А зачем — знать? Это моя большая беда. Большое горе...

— Да, это беда...

— Я ведь не могу добраться до таких как я, до неходячих. А многим могла бы помочь, если б ноги-то были. Ты иди, ты тоже будешь лечить. Ноги береги, не отморозь, гляди. Остальное просто. Иди, благословляю тебя. Хороший доктор будешь. И люди тебе этого никогда не простят.